

Станислав

ЛІЕМ

Станислав

ЖЕМ

Высокий замок



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.162.1-312.9
ББК 84(4Пол)-44
Л44

Серия «Лем — собрание сочинений (Neo)»

Stanislaw Lem
COMPLETE WORKS VOL. 1

Перевод с польского

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения наследников Станислава Лема
и Агентства Andrew Nurnberg Associates International Ltd.

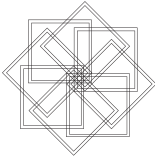
Лем, Станислав.

Л44 Высокий замок : [сборник : перевод с польского] / Станислав Лем. — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 640 с. — (Лем — собрание сочинений (Neo)).

ISBN 978-5-17-133407-9

В этот том вошли ранние рассказы (1946–1953) и стихотворения (1975) Станислава Лема, а также романы «Высокий Замок» и «Больница Преображения», наполненные автобиографическими впечатлениями.

УДК 821.162.1-312.9
ББК 84(4Пол)-44

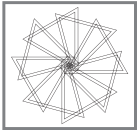


Моя жизнь



Mein Leben, 1983

© Перевод. Константин Душенко, 1992



Эту автобиографию я писал, отдавая себе отчет в том, что мое перо притягивают два противоположных полюса. Один из них — это случайность, второй — организующая нашу жизнь закономерность. Чем было все то, в результате чего я появился на свет и, хотя смерть угрожала мне множество раз, выжил и стал писателем, и к тому же писателем, который пытается сочетать огонь и воду, фантастику и реализм? Неужели всего лишь равнодействующей длинного ряда случайностей? Или же тут было некое предопределение, не в обличье какой-то сверхъестественной Мойры, которая предрекла мою судьбу уже в колыбели, но таившееся где-то во мне самом — скажем, как и подобало бы агностику и эмпирику, в моей наследственности.

Разумеется, от роли случайности в моей жизни я не могу отмахнуться. Когда в 1915 году пала крепость Перемышль, мой отец — он служил тогда врачом в австро-венгерской армии — оказался в русском плену. Почти пять лет спустя, пройдя через хаос русской революции, он вернулся в родной Львов, и из его рассказов я знаю, что по меньшей мере однажды его как офицера, а значит, классового врага должны были поставить к стенке. Спасся он по чистой случайности: когда его уже вели на расстрел по улице какого-то украинского местечка, его заметил и узнал еврейский парикмахер из Львова; тот брил самого коменданта города и имел свободный доступ к нему. Благодаря этому отца (который, впрочем, тогда не успел еще стать моим отцом) освободили, и он вернулся во Львов к своей невесте. Эту историю — разумеется, в художественно переработанном и усложненном виде — можно найти в моей псевдорецензии (на книгу «*De Impossibilitate Vitae*»¹ Цезаря

¹ «О невозможности жизни» (*лат.*). Примечания, обозначенные цифрами, принадлежат переводчику. Авторские примечания, обозначенные звездочкой, см. в конце текста.

Коуски) из сборника «Абсолютная пустота». Тогда случайность обернулась судьбой в облике человека, ведь если бы парикмахер свернул в эту улочку минутой позже, ничто не спасло бы моего отца. Я слышал это от него, когда мне было лет десять, и тогда, конечно, мне были недоступны абстрактные рассуждения, которые позволяли бы сопоставить категории случайности и судьбы. Мой отец был уважаемым в городе и весьма зажиточным врачом-ларингологом. В довольно-таки бедной стране, какой была довоенная Польша, я ни в чем не испытывал недостатка. У меня были французская гувернантка, множество игрушек, и я считал мир, в котором рос, чем-то абсолютно устойчивым. В таком случае почему же я, ребенок, любивший уединение, выдумал странную, диковинную игру, описанную в другой моей книге — «Высокий Замок»?

Я перенесся в вымышленный мир, который, однако, я не выдумал и не вообразил себе, так сказать, непосредственно. В школьные годы я изготовлял множество «важных бумаг»: документы, удостоверения, дипломы, наделявшие меня богатством, высокими званиями и тайной властью; и еще — «неограниченные полномочия», пропуска, шифрованные подтверждения своих высоких должностей — где-то там, в стране, которой не было ни на одной географической карте. Может быть, я ощущал какую-то неуверенность? Угрозу? И моя игра была как-то связана с этим, возможно даже неосознаваемым мною, ощущением? Не знаю. Я был хорошим учеником. Потом, уже после войны, я узнал от одного пожилого человека, который служил в школьном ведомстве довоенной Польши, что в 1936-м или 1937 году измеряли коэффициент умственных способностей учеников всех гимназий; мой коэффициент интеллекта оказался около ста восьмидесяти, и, по словам этого человека, я был тогда чуть ли не самым способным ребенком во всей южной Польше. О чем сам я и понятия не имел, так как о результатах обследования не сообщалось. Итак, по крайней мере в этом смысле, с этой точки зрения я уже составлял исключение из общего правила. Хотя, конечно, совсем не поэтому мне удалось пережить оккупацию в «генерал-губернаторстве»¹. Именно тогда я как нельзя более ясно, в «школе жизни», узнал, что я не «ариец». Мои предки были евреи. Я ничего не знал об иудейской религии; о еврейской культуре я, к сожалению, тоже совсем ничего не знал; собственно, лишь нацистское законодательство просветило меня насчет того,

¹ Официальное наименование оккупированных фашистской Германией польских территорий, не включенных непосредственно в состав Третьего рейха.

какая кровь течет в моих жилах. Нам удалось избежать переселения в гетто. С фальшивыми документами мы — я и мои родители — пережили эти годы¹.

Но я хотел бы еще раз вернуться в свое довоенное детство. Мои первые книги были совершенно особого рода. Еще не умея читать, я листал анатомические атласы и медицинские пособия отца; понять в них что-либо мне было мудрено уже потому, что медицинская библиотека отца состояла частью из немецких, частью из французских книг. Только беллетристика была на польском. Мое первое знакомство с миром книг неразрывно связано с рисунками скелетов и аккуратно вскрытых черепов, подробными и многоцветными рисунками мозга, изображениями внутренностей, препарированных и украшенных звучными магическими латинскими названиями. Разумеется, рыться в отцовской библиотеке мне было строжайше запрещено; именно поэтому она притягивала меня, как нечто запретное и таинственное. Пожалуй, я и теперь еще мог бы перечислить все человеческие кости. За остекленной створкой книжного шкафа лежала на полке одна из черепных костей (*os temporis*²) с просверленным в ней отверстием, должно быть, на память о том времени, когда отец изучал медицину. Я не раз — и без какого-либо пиетета — держал эту кость в руках (для этого надо было только на время стянуть у отца ключ). Я знал, *что* это такое, но кость меня не пугала, а скорее вызывала какое-то удивление. То, что она лежала перед рядами толстых медицинских трудов, казалось мне совершенно естественным; ведь ребенок не отличает банального и будничного от необычайного — ему просто не с чем сравнивать. Эту кость — или, скорее, ее беллетристическое отражение — можно найти в другом моем романе («Рукопись, найденная в ванне») в виде очищенного до блеска черепа. Целый череп, такой, каким он описан в этом романе, где он играет какую-то не вполне ясную для меня самую роль, был раньше собственностью моего дяди с материнской стороны, тоже врача. Он был убит всего два дня спустя после вступления немецкой армии во Львов вместе со многими другими поляками, по большей части профессорами университета; среди них был Бой-Желеньский, один из самых известных польских писателей. Их взяли ночью на их квартиру и расстреляли.

¹ Впоследствии С. Лем писал: «Немцы убили всех моих близких, кроме отца с матерью...» (Lem S. Science-fiction: ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen. Frankfurt a. M., 1987. S. 150).

² Височная кость (*лат.*).

И вот вопрос: была ли какая-нибудь объективная, то есть не вымышленная мною, не ограничивающаяся одними лишь ассоциациями связь между этими частями человеческого скелета и эпохой массового человекоубийства? Или же перед нами всего лишь серия случайных совпадений? Да, я считаю это совпадение совершенно случайным. Я не верю ни в Провидение, ни в предопределение. Мой жизненный опыт таков, что я могу представить себе — вместо установленной гармонии — разве что предустановленную дисгармонию, за которой следуют хаос и безумие. Мое детство, вне всякого сомнения, было мирным и идиллическим — особенно по сравнению с тем, что наступило потом.

Я был пожителем книг. Я читал все, что попадало мне в руки: шедевры национальной поэзии, романы, научно-популярные книжки (я и теперь еще помню, что одна из таких книг, подарок отца, стоила семьдесят злотых, целое состояние по тем временам — за семьдесят злотых можно было купить костюм). Отец меня баловал, ничего не скажешь. А еще я рассматривал в отцовских анатомических атласах (это я тоже хорошо помню) женские и мужские гениталии — особенно женский «срам» казался мне чем-то паучьим, он не то чтобы вызывал у меня отвращение, но, во всяком случае, не имел для меня ничего общего с эротикой. Позже, став взрослым, в сексуальном отношении я, насколько мне представляется, был совершенно нормален. Но так как на медицинском факультете я среди прочих предметов изучал гинекологию и даже проработал месяц акушером в одной из клиник, то порнография поныне ассоциируется у меня не с сексуальным влечением, не с радостями соития, а с анатомическими картинками в отцовских атласах и с моими собственными занятиями гинекологией. Сама мысль о том, что мужчина может прийти в сильное возбуждение при одном виде женских гениталий, кажется мне чрезвычайно странной. Я понимаю, конечно, что тут речь идет о «либидо», об ощущениях, «встроенных» в нашу психику и запрограммированных эволюцией; и все же секс без любви — это для меня примерно то же, что человек, который ест соль и перец целыми ложками потому, что без соли и перца еда будет пресной. Никакого отвращения, но также и никакого влечения, пока речь не идет о *настоящей* эротике, о том, что зовется любовью.

Восьми лет я влюбился в девочку-подростка. Я часто видел ее в городском саду неподалеку от нашего дома, а так как я ни разу не говорил с ней, она, разумеется, ни о чем не могла и догадываться и, скорее всего, просто не замечала меня. То была любовь пла-

менная, глубокая, как бы очищенная от всего конкретного, витающая в сферах полного исполнения желаний. Знакомиться с нею мне было совершенно незачем. Я страстно желал лишь одного — видеть ее издали; на этом все и кончалось. Пусть господа психоаналитики займутся этим детским чувством. Я же от комментариев воздержусь, ибо считаю, что подобные эпизоды можно истолковать на любой лад.

Я уже говорил о противостоящих друг другу понятиях «случай — закономерность» или же «стечение обстоятельств — предопределение». Лишь тогда, когда я взялся писать «Высокий Замок», я начал подозревать, что моя судьба, то есть мое писательское призвание, уже таилась во мне, когда я разглядывал скелеты, галактики в астрономических атласах, реконструкции чудовищных ящеров мезозоя и многоцветный человеческий мозг в анатомических справочниках. Возможно, все это были внешние причины или, лучше сказать, импульсы и раздражители, под влиянием которых складывалась моя душевная организация. О чем я, разумеется, ни малейшего понятия не имел.

Я не только выдумывал фантастические королевства и титулы; я еще занимался изобретательством и «конструировал» допотопных животных, неизвестных палеонтологам. Между прочим, я выдумал самолет в виде мощной вогнутой линзы; паровой котел располагался в ее фокусе, а подъемную силу обеспечивали турбины, размещенные по краям вертикально, как у вертолета. Все это приводилось в движение энергией солнечных лучей. Предполагалось, что эта нелепица будет летать очень высоко над облаками и, разумеется, только днем. Случалось мне изобретать вещи, давно уже существующие, хотя я об этом не знал — например, дифференциальную передачу. В свои толстые тетради я заносил истинно комические проекты, к примеру велосипед, на котором надо было ехать, приподнимаясь и опускаясь, словно верхом на лошади. Нечто похожее я где-то видел недавно, кажется, в английском журнале «Нью сайентист», но не поручусь, что именно там.

Любопытно, что я никогда не пробовал показывать свои рисунки, напротив, я тщательно скрывал их от школьных товарищей и родителей. Почему — я и сам не знаю; возможно, из-за свойственной детям склонности делать изо всего тайну. Но скорее всего, *не была* случайной скрытность, с какой я играл в «удостоверения» и «пропуска», открывающие их предъявителю доступ в подземные сокровищницы. Думаю, что я боялся насмешек. Хотя я знал,

что это всего лишь игра, для меня с ней было связано что-то очень серьезное. Правда, об этой игре я рассказал в «Высоком Замке», но туда вошла лишь малая доля моих воспоминаний. Почему? Что ж, на этот вопрос я могу ответить хотя бы отчасти. Во-первых, в «Высоком Замке» я хотел опять превратиться в ребенка, которым когда-то был, свести комментарий к минимуму (я имею в виду комментарий с точки зрения здравомыслящего взрослого). Во-вторых, в процессе своего возникновения эта книга породила свою собственную «нормативную эстетику» (как в ходе любого процесса самоорганизации), и оказалось, что многое в моих воспоминаниях грозит внести диссонанс в этот канон. Не то чтобы я хотел что-нибудь скрыть из чувства вины или стыда, но было нечто такое, что плохо вязалось с моим детством, каким я взялся его описать. Прежде всего я хотел — намерение вряд ли осуществимое! — выделить, дистиллировать из всей моей жизни детство в чистом виде так, словно бы всех последующих наслоений — войны, массовых убийств, истребления, воздушных тревог и ночевков в подвалах, фальшивых документов, игры в прятки, смертельных опасностей, словно бы всего этого никогда не было. Ведь всего этого, несомненно, не существовало, когда я был ребенком или шестнадцатилетним гимназистом. Но в тексте я все же дал понять, что я не обо всем умолчал или хотел умолчать, заметив (не помню точно где), что любой человек может написать множество мало похожих одна на другую автобиографий в зависимости от избранной точки зрения и критериев отбора.

Значение в человеческой жизни категорий «случайность» и «закономерность» я уяснил в военные годы, так сказать, инстинктивно, собственной кожей — не как мыслящий человек, но как преследуемый, загнанный зверь.

Я на практике мог убедиться, что жизнь и смерть зависят от мельчайших, пустячных обстоятельств: по этой или той улице ты пошел на работу, пришел ли ты к знакомому на час или двадцать минут позже, закрыты или открыты были двери подъезда во время уличной облавы. В то же время не следует думать, будто бы я, ведомый инстинктом самосохранения, выбирал — выражаясь языком естественных наук — оптимальную стратегию, стратегию максимальной предусмотрительности. Нет, нередко я шел навстречу опасности. Иногда потому, что считал это нужным, но иногда это было просто совершенной беспечностью и даже безумием. И теперь еще, вспоминая о такого рода отчаянных и идиотских поступ-

ках, я ощущаю страх, смешанный с удивлением, — отчего и зачем я вел себя именно так. К примеру, красть боеприпасы со «склада трофеев германских военно-воздушных сил» (я имел туда доступ как работник немецкой фирмы) и передавать их какому-то незнакомому мне человеку, о котором я знал лишь то, что он участник Сопrotивления, я считал своим долгом. Но если мне надо было доставить в условленное место, допустим, какое-нибудь оружие как раз перед началом комендантского часа, а пользоваться трамваем при этом строжайше запрещалось (надо было идти пешком), я все же ехал трамваем. Однажды украинский полицейский в черной форме прыгнул на подножку трамвая и прижался ко мне сзади, чтобы ухватиться за ручку двери; это могло кончиться для меня очень плохо. Я проявил несубординацию, легкомыслие и глупость и все же поступил именно так. Что это было — вызов судьбе или недомыслие? Я и теперь не знаю.

Мне гораздо легче понять, почему я несколько раз побывал в гетто, когда оно еще существовало. Ведь там у меня были знакомые. Все они или почти все, насколько мне известно, погибли осенью 1942 года в газовых камерах концлагеря Белжец.

Здесь уже возникает вопрос: есть ли какая-нибудь причинно-следственная связь между тем, что я рассказал, и моим писательским призванием, и даже больше того — с тем, чего мне удалось достичь как писателю? (Причем, разумеется, автобиографические тексты наподобие «Высокого Замка» исключаются из рассмотрения.)

Я думаю, что такая связь есть, что вовсе не случайно такую важную роль играет в моих книгах случай как создатель судьбы. Ведь мне довелось жить в совершенно различных общественных системах. Я уяснил себе огромные различия между ними — бедная, но независимая капиталистическая (если это подходящее определение) довоенная Польша, Pax Sovietica¹ 1939–1941 годов, немецкая оккупация, вторичный приход Красной Армии, послевоенные годы уже в совершенно иной Польше. Но не только различия. Я узнал еще, до какой степени хрупки общественные системы, как ведут себя люди в экстремальных условиях, насколько непредсказуемым становится человек под непереносимым давлением — его решения никогда или почти никогда нельзя предвидеть. Я хорошо помню, какие чувства я испытывал при чтении романа Сола Беллоу «Планета мистера Саммлера». Книга понравилась мне настолько,

¹ Мир по-советски (лат.).

что я перечитал ее несколько раз. И все же бо́льшая часть переживаний его героя, мистера Саммлера, в оккупированной немцами Польше звучала как-то фальшиво. Беллоу, опытный романист, наверняка собирал необходимый материал для своей книги. Он, например, допустил лишь одну бросающуюся в глаза ошибку, дав горничной-польке имя, не встречающееся у поляков. Но это мелочь, которую можно исправить одним лишь взмахом пера. Хуже другое: не совпадает «атмосфера», неуловимое Нечто, которое, *быть может*, удалось бы выразить в словах тому, кто сам пережил все это. Речь идет не о правдоподобии тех или иных эпизодов. Тогда случалось самое неправдоподобное, самое невероятное. Речь идет об общем впечатлении — оно-то и заставляет меня предположить, что все это Беллоу знает лишь по рассказам, что он находился в положении исследователя, который получил составные части целого, упакованные порознь, и теперь пытается собрать их. Скомпоновать их таким образом, чтобы, к примеру, из кислорода, азота, водяного пара и аромата цветов возникла атмосфера определенно-го участка леса в определенный утренний час.

Не знаю, возможно ли это вообще; во всяком случае, это дьявольски трудно. Что-то ненастоящее, привкус какой-то фальши чувствуется в этой смеси. Та эпоха сокрушила и взорвала все прежние условности и приемы литературного повествования. Непостижимая ничтожность человеческой жизни перед лицом массового истребления не может быть передана средствами литературы, которая в центр повествования ставит отдельных людей или небольшие группы. Это все равно что пытаться изобразить Мэрилин Монро при помощи точного описания молекул, из которых состоит ее тело. Это попросту невозможно.

Я, право, не знаю, почему я выбрал путь научной фантастики; я могу лишь предположить — да и это слишком смело с моей стороны, — что научную фантастику я начал писать потому, что она имеет или должна иметь дело с человеческим родом как таковым (и даже с возможными видами разумных существ, одним из которых является человек), а не с какими-то отдельными индивидами, все равно — святыми или чудовищами.

Вероятно, по той же причине после своих первых серьезных попыток (то есть первых научно-фантастических романов) я взбунтовался против канонов жанра в том его виде, в каком он сформировался и окостенел в США. Пока я еще не знал американской научной фантастики (а я не знал ее довольно долго — примерно до 1956-го или 1957 года в Польшу почти не доходили иностранные

книги), я полагал, что она ушла далеко вперед по пути, намеченно-му Г. Дж. Уэллсом в «Войне миров». Ведь Уэллс первым взошел на ту высоту, с которой открывался вид на возможности жанра в самых крайних его проявлениях. Он предвидел облик катастрофы, и предвидел верно: в этом я убедился во время войны, когда не раз перечитывал «Войну миров».

Своим первым научно-фантастическим романам я отказываю сегодня в какой-либо ценности (несмотря на то что они имели множество изданий по всему миру и сделали мое имя широко известным). Побуждения, которыми я руководствовался, когда писал эти романы, например «Астронавтов», я и теперь хорошо понимаю, хотя они противоречили моему тогдашнему жизненному опыту — это относится и к их сюжетной канве, и к изображенному в них миру. «Плохой» мир следовало превратить в «хороший».

Собственно говоря, в послевоенное время имелся лишь выбор между надеждой и отчаянием, между исторически необоснованным оптимизмом и хорошо обоснованным скептицизмом, от которого было рукой подать до нигилизма. И я, разумеется, дал увлечь себя оптимизму и надежде! Правда, сначала я написал реалистический роман, чтобы (хотя это опять-таки всего лишь предположение) освободиться от бремени воспоминаний, чтобы они, подобно выделенному гною, превратились в отвердевший сгусток и перестали меня угнетать (но, может быть, и для того, чтобы не забыть пережитого: одно ведь вовсе не исключает другого). Роман назывался «Больница Преображения». Один немецкий критик счел его чем-то вроде продолжения «Волшебной горы» Томаса Манна: то, что у Манна было всего лишь предзнаменованием, лишь раскатом невидимой, скрытой где-то за горизонтом истории грозы, обернулось реальностью — в виде массового истребления, последнего круга ада, в виде самых крайних последствий уже предсказанного «Заката Европы». Местность, в которой разворачивается действие, лечебница для душевнобольных, врачебный персонал, действующие лица — всего этого в действительности не было, все это я выдумал. Но в те времена в оккупированной Польше действительно совершались массовые убийства душевнобольных — и не только.

Этот роман я закончил писать в 1948 году, на последнем курсе университета. Но он не укладывался в схемы возобладавшего к тому времени соцреализма и был опубликован лишь в 1955 году. Я, без всякого преувеличения, работал не покладая рук.